



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Чертогон

Содержание

Глава первая.....	0005
Глава вторая.....	0007
Глава третья.....	0013
Глава четвертая.....	0015
Глава пятая.....	0022

Николай Лесков

Чертогон

Глава первая

Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе как при особом счастье и протекции.

Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе.

Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к «народу»: мать моя из купеческого звания. Она выходила замуж из очень богатого дома, но вышла уходом, по любви к моему родителю. Покойник был молодец по женской части и что намечал, того и достигал. Так ему удалось и с мамашей, но только за эту ловкость матушкины старики ничего ей не дали, кроме, разумеется, гардеробу, постелей и Божьего милосердия, которые были получены вместе с прощением и родительским благословением, навеки нерушимым. Жили мои старики в Орле, жили нужно, но гордо, у богатых материных родных ничего не просили, да и сношений с ними не имели. Однако,

когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить:

– Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных уважать должно, – а он мой брат, и к тому благочестив и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда хлеб-соль подает... всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом... и у генерал-губернатора с митрополитом принят... Он тебя может хорошему наставить.

А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в Бога не верил, но матушку любил, и думаю себе раз: «Вот я уже около года в Москве и до сих пор материной воли не исполнил; пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеевичу, повидаюсь – снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит».

По привычке детства я был к старшим почтителен – особенно к таким, которые известны и митрополиту, и губернаторам.

Восстав, почистился щеточкой и пошел к дяде Илье Федосеевичу.

Глава вторая

Было так часов около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая – словом, очень хорошо. Дом дяди известен, – один из первых домов в Москве, – все его знают. Только я никогда в нем не был и дядю никогда не видал, даже издали.

Иду, однако, смело, рассуждая: примет – хорошо, а не примет – не надо.

Прихожу на двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассыпные, шерсть, как дорогой атлас, лоснится, а заложены в коляску.

Я взошел на крыльцо и говорю: так и так – я племянник, студент, прошу доложить Илье Федосеичу. А люди отвечают:

– Они сами сейчас сходят – едут кататься.

Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная, – в глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется – солидный мужчина.

Отрекомендовался ему; он выслушал молча, тихо руку подал и говорит:

– Садись, поедемся.

Я было хотел отказаться, но как-то замялся и сел.

– В парк! – велел он.

Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче помчали.

Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя себе цилиндр краем в самый лоб врезал, и на лице у него этакая что называется плюмса, как бывает от скуки.

Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом и ни с того ни с сего проговорил:

– Совсем жисти нет.

Я не знал, что отвечать, и промолчал.

Опять едем, едем; думаю: куда это он меня завозит? и начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-то статью.

А дядя вдруг словно повершил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно за другим приказания:

– Направо, налево. У «Яра» – стой!

Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядею чуть не в три погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и велел позвать хозяина. Побежали. Явля-

ется француз – тоже с большим почтением, а дядя не шевелится: костью набалдашника палки о зубы постукивает и говорит:

– Сколько лишних людей есть?

– Человек до тридцати в гостиных, – отвечает француз, – да три кабинета заняты.

– Всех вон!

– Очень хорошо.

– Теперь семь часов, – говорит, посмотрев на часы, дядя, – я в восемь заеду. Будет готово?

– Нет, – отвечает, – в восемь трудно... у многих заказано... а к девяти часам пожалуйста, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет.

– Хорошо.

– А что приготовить?

– Разумеется, эфиопов.

– А еще?

– Оркестр.

– Один?

– Нет, два лучше.

– За Рябыкой послать?

– Разумеется.

– Французских дам?

– Не надо их!

– Погреб?

– Вполне.

– По кухне?

– Карту!

Подали дневное меню.[1]

Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а может быть, и не хотел разбирать: пощелкал по бумажке палкою и говорит:

– Вот это все на сто особ.

И с этим свернул карточку и положил в кафтан.

Француз и рад, и жметяся:

– Я, – говорит, – не могу все подать на сто особ. Здесь есть вещи очень дорогие, которых во всем ресторане всего только на пять-шесть порций.

– А я как же могу моих гостей рассортировывать? Кто что захочет, всякому чтоб было. Понимаешь?

– Понимаю.

– А то, брат, тогда и Рябыка не подействует. Пошел!

Оставили рестораника с его лакеями у подъезда и покатили.

Тут я уже совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал было попроститься, но дядя не слышал. Он был очень озабочен. Едем и только то одного, то другого останавливаем.

– В девять часов к «Яру»! – говорит коротко каждому дядя. А люди, которым он это рассказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы и так же коротко отвечают дяде:

– Твои гости, твои гости, Федосеич.

Таким порядком, не помню, сколько мы остановили, но я думаю, человек двадцать, и как раз пришло девять часов, и мы опять подкатили к «Яру». Слуг целая толпа высыпала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце салфеткою пыль у него с панталон обил.

– Чисто? – спрашивает дядя.

– Один генерал, – говорит, – запоздал, очень просился в кабинете кончить...

– Сейчас вон его!

– Он очень скоро кончит.

– Не хочу, – довольно я ему дал времени – теперь пусть идет на траву доедать.

Не знаю, чем бы это кончилось, но в эту

минуту генерал с двумя дамами вышел, сел в коляску и уехал, а к подъезду один за другим разом начали прибывать гости, приглашенные дядею в парке.

Глава третья

Ресторан был убран, чист и свободен от посетителей. Только в одной зале сидел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук палку и куда-то ее спрятал.

Дядя отдал палку, нимало не противореча, и тут же передал великану бумажник и портмоне.

Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то «детский учитель», но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Он был здесь столь же необходим, как цыгане, оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности.

Ярко освещенный ресторан работал: музыка гремела, а цыгане расхаживали и закусывали у буфета, дядя обзревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел, «нет ли непринадлежащих», и рядом с ним безотлуч-

но ходил учитель; но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними замечалась большая разница: поход на них действовал не одинаково: учитель был трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян.

Как это могло столь скоро произойти, – не знаю, но он был в отличном настроении; сел на председательское место, и пошла писать столица.

Двери были заперты, и о всем мире сказано так: «что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя». Нас разлучала пропасть, – пропасть всего – вина, яств, а главное – пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, – но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого не надо и требовать, потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как шла эта ночь, потому что все это описать дано не моему перу, я помню только два выдающиеся батальные эпизода и финал, но в них-то и заключалось главным образом *страшное*.

Глава четвертая

Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось – важнейшем московском фабриканте и коммерсанте.

Это произвело паузу.

– Ведь сказано: никого не пускать, – отвечал дядя.

– Очень просятся.

– А где он прежде был, пусть туда и убирается. Человек пошел, но робко идет назад.

– Иван Степанович, – говорит, – приказали сказать, что они очень покорно просятся.

– Не надо, я не хочу.

Другие говорят: «Пусть штраф заплатит».

– Нет! гнать прочь, и штрафу не надо.

Но человек является и еще робче заявляет:

– Они, – говорит, – всякий штраф согласны, – только в их годы от своей компании отстать, говорят, им очень грустно.

Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка: левой рукой, как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул слугу, а правую посадил на место дядю.

Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича: просили пустить его – взять сто рублей штрафа на музыкантов и пустить.

– Свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделает на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо.

Дядя внял и говорит:

– Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-Божью: Ивану Степанову впуск разрешаю, но только он должен бить на литавре.

Пошел пересказчик и возвращается:

– Просят, говорят, лучше с них штраф взять.

– К черту! не хочет барабанить – не надо, пусть его куда хочет едет.

Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что *согласен* в литавры бить.

– Пусть придет.

Входит муж нарочито велик и видом почтенен: обликом строг, очи угасли, хребет согбен, а брада комовата и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют.

– После, после, это все после, – кричит ему дядя, – теперь бей в барабан.

– Бей в барабан! – подхватывают другие.

– Музыка! подлитаврную.

Оркестр начинает громкую пьесу, – солидный старец берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам.

Шум и крик адский; все довольны и кричат:

– Громче!

Иван Степанович старается сильнее.

– Громче, громче, еще громче!

Старец колотит во всю мочь, как Черный царь у Фрейлиграта, и, наконец, цель достигнута: литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за прорванные литавры штрафом в пятьсот рублей в пользу музыкантов.

Он платит, оттирает пот, усаживается, и в то время, как все пьют его здоровье, он, к немалому своему ужасу, замечает между гостями своего зятя.

Опять хохот, опять шум, и так до потери

моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте, дядя; потом как он перед кем-то встает, но тут же между ними появляется Рябыка, и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед ним в столе торчат две воткнутые вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки.

Но вот в окно дохнула свежесть московского утра, я снова что-то сознал, но как будто только для того, чтобы усумниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов: слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные, экзотические деревья, за ними кучею жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь, у корней, сверкали страшные топоры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович... Просто средневековая картина.

Это «брали в плен» спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать: в воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те всё врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степаныч и дядя.

Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый – каждой сунул по сторублевой за «корсаж», и дело кончено...

Да; сразу вдруг все стихло... все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как без этого «жисти не было», так зато теперь довольно.

Всем было довольно, и все были довольны. Может быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему «пора в классы», но, впрочем, все равно: вальпургиева ночь прошла и «жисть» опять начиналась.

Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла; ни оркестра, ни цыган уже не было. Ресторан представлял полнейшее разорение: ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра – и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бродившей, утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка.

Им подали счет – короткий: «гуртом писан-

ный».

Рябыка читал счет внимательно и потребовал полторы тысячи скидки. С ним мало спорили и подвели итог: он составлял семнадцать тысяч, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «плати» и затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать.

Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл и что мне невозможно от него скрыться. Он мне был чрезвычайно страшен, и я не мог себе представить, как я останусь в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с собою, даже двух слов резонных не сказал, и вот таскает, и нельзя от него отстать. Что со мною будет? У меня весь и хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного, дикого зверя, с его невероятною фантазией и ужасным размахом. А между тем мы уже уходили: в передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал: «по пяти» – и Рябыка расплачивался; ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тут еще

на всем видимом пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас – ждали батюшку Илью Федосеича, «не понадобится ли зачем послать его милости».

Узнали, сколько их, и выдали всем по три рубля, и мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник.

Илья Федосеич вынул из бумажника сто рублей и подал Рябыке.

Тот повернул билет в руках и грубо сказал:
– Мало.

Дядя накинул еще две четвертки.

– Да и это недостаточно: ведь ни одного скандала не было.

Дядя прибавил третью четвертную, после чего учитель подал ему палку и откланялся.

Глава пятая

Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась во всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понимал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно: им хотелось еще сорвать отступного, и вот они, под видом оказания особой чести Илье Федосеичу, предавали его почетное высокостепенство всесветному позору.

Москва была перед носом и вся в виду – вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовесте, зовущем к молитве.

Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой кадке и спросил:

– Мед?

– Мед.

– Что стуйт кадка?

– На мелочь по фунтам продаем.

– Продай на крупное: смекни, что стуйт.

Не помню, кажется семьдесят или восемьдесят рублей он смекнул.

Дядя выбросил деньги.

А кортеж наш надвинулся.

– Любите меня, молодцы, городские извозчики?

– Как же, мы завсегда к вашему степенству...

– Привязанность чувствуете?

– Очень привязаны.

– Снимай колеса.

Те недоумевают.

– Скорей, скорей! – командует дядя.

Кто попрытче, человек двадцать, слазили под козла, достали ключи и стали развертывать гайки.

– Хорошо, – говорит дядя, – теперь мажь медом.

– Батюшка!

– Мажь!

– Этакое добро... в рот любопытнее.

– Мажь!

И, не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись, а те, сколько их было, все остались с снятыми колесами над медом, которым они колес верно не мазали, а растащили по карманам или перепродали лабаз-

нику. Во всяком случае они нас оставили, и мы очутились в банях. Тут я себе ожидал кончину века, и ни жив ни мертв сидел в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто, не в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучного тела упиралась об пол только самыми кончиками ножных и ручных пальцев, и на этих тонких точках опоры красное тело его трепетало под брызгами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку. Это продолжалось с полчаса, и он все одинаково весь трепетал, как желе, на тряском столе, пока, наконец, сразу вспрыгнул, спросил квасу, и мы оделись и поехали на Кузнецкий «к французу».

Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили, и причесали, и мы пешком перешли в город – в лавку.

Со мной все нет ни разговора, ни отпуска. Только раз сказал:

– погоди, не все вдруг; чего не понимаешь, – с летбм поймешь.

В лавке он помолился, взглянув на всех хо-

зыйским оком, и стал у конторки. Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения.

Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало – я хотел видеть, как он с собою разделается: воздержанием или какой благодатию?

Часов в десять он стал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить, – троим собирают на целый пятак дешевле. Сосед не вышел: помер скорописною смертью.

Дядя перекрестился и сказал:

– Все порем.

Это его не смутило, несмотря на то, что они сорок лет вместе ходили в Новотроицкий чай пить.

Мы позвали соседа с другой стороны и не раз сходили, того-сего отведали, но все нбтрезво. Весь день я просидел и проходил с ним, а перед вечером дядя послал взять коляску ко Всепетой.

Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у «Яра».

– Хочу пасть перед Всепетой и о грехах по-

плакать. А это, рекомендую, мой племян, сестры сын.

– Пожалуйте, – говорят инокини, – пожалуйста, от кого же Всепетой, как не от вас, и покаянье принять, – всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое расположение... все-нощная.

– Пусть кончится, – я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак сделать.

Ему сделали сумрак; погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампы с зеленым стаканом перед самою Всепетою.

Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, всхлипнул и точно замер.

Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шепнула:

– Действует... и с оборотом.

– Почему вы замечаете?

Она пригнулась, дав знак и мне сделать то же, и сказала:

– Смотри прямо через огонек, где его ножки.

– Вижу.

– Смотрите, какое борение!

Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение: дядя благоговейно лежит в молитвенном положении, а в ногах у него словно два кота дерутся – то один, то другой друг друга борют, и так частенько, так и прыгают.

– Матушка, – говорю, – откуда же эти коты?

– Это, – отвечает, – вам только показываются коты, а это не коты, а искушение: видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает.

Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь к небу горит?

А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как крикнет:

– Не поднимусь, пока не простишь меня!

Ты бо один свят, а мы все черти окаянные! – и зарыдал.

Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали: Господи, сотвори ему по его молению.

И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и тихим, благочестивым голосом говорит мне:

– Пойдем – справимся.

Монахини спрашивают:

– Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?

– Нет, – отвечает, – отблеска не сподобился, а вот... этак вот было.

Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек.

– Подняло?

– Да.

Монахини стали креститься, и я тоже, а дядя пояснил:

– Теперь мне, – говорит, – прощено! Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило...

И вот он не отвержен и счастлив; он щедро

одарил обитель, где вымолил себе это чудо, и опять почувствовал «жисть», и послал моей матери всю ее приданую долю, а меня ввел в добрую веру народную.

С этих пор я вкус народный познал в падении и в восстании... Это вот и называется *чертогон*, «иже беса чужеумия испраздняет». Только сподобиться этого, повторяю, можно в одной Москве, и то при особом счастье или при большой протекции от самых степенных старцев.

1879 г.

Примечания

Меню – *Франц.*

[^^^]